

Пушкин в оценке современников *

В наших историко-литературных работах неоднократно уже говорилось о том, что Белинский первый провозгласил Пушкина европейским и в то же время народным русским поэтом. Здесь я только хочу отметить особые обстоятельства, при которых имела место эта декларация Белинского.

Декларацией Белинского разряжалась атмосфера непонимания и вражды, сгушавшаяся вокруг Пушкина в последние годы его жизни. Установка Белинского особенно существенна именно потому, что она возникла на фоне еще не затихших толков о «безыдейности» Пушкина. Примерно начиная с 1830 г., различные литературные группировки предъявили Пушкину невероятное с нашей точки зрения обвинение в «безыдейности», в «мелочности» поэтических тем и т. п.

Но даже в восторженных отзывах о Пушкине 20-х–30-х гг. как бы подразумевалось, что Пушкин — замечательное явление для молодой русской литературы, но во всяком случае явление второстепенное по сравнению с Байроном и другими европейскими корифеями. *Шекспир, Гомер, Пушкин* — это сочетание имен, самая возможность этого сочетания принадлежит Белинскому. Белинский нашел для Пушкина новый масштаб; тот мировой масштаб, который по отношению к Пушкину никогда уже не исчезал из русской литературы и с такой силой подтвержден в наши дни.

Заслуга Белинского раскрывается во всей ее полноте только на фоне предшествующих оценок Пушкина. Характерно в этом смысле отношение к Пушкину его старых друзей-карамзинистов. Вяземский так до самого конца и не мог отречься от представления о Пушкине как о поэте «младшего поколения», как о деятеле замечательном, но исторически во всяком случае не более значительном, чем Карамзин и Жуковский. Сам Карамзин склонен был рассматривать произведения Пушкина, вплоть до 1826 г. (в этом году Карамзин умер), как «шалости» талантливого и многообещающего молодого человека.

Карамзинисты сами разрабатывали по преимуществу камерные жанры, но для них, как для людей, идеологически связанных с традициями классицизма, актуально было представление о том, что свои высшие достижения поэт должен осуществить на особых возвышенных

* Печатается по: Литературный Ленинград. 1937. 11 февр.

темах. Даже Жуковский писал Пушкину в 1825 г.: «Я ничего не знаю совершеннее по слогу твоих «Цыган»! Но, милый друг, какая цель! Скажи, чего ты хочешь от своего гения? Какую память хочешь оставить о себе отечеству, которому так нужно высокое?» Точно так же восхищаясь «Онегиным», Жуковский сетовал о том, что с *высокостью гения* Пушкин еще не соединил *высокость цели*.

Не случайно именно Белинский — методолог русского реализма — сумел постичь грандиозное в обыденном, угадать в «Онегине» переворот — новый способ поэтического постижения действительности. «...Какое бесконечное мирозерцание, какой великий нравственный урок — и в чем же, в нашей частной жизни среди помещиков», — писал об Онегине Белинский.

В 20-х годах Пушкина торопили, от него требовали произведений предельно зрелых и глубоких. Когда же он создал такие произведения, когда он написал последние главы «Онегина», «Медного всадника», «Осень», его перестали понимать (впрочем, и «Медный всадник», и «Русалка», и лучшие лирические вещи 30-х годов при жизни Пушкина не печатались). Последние годы Пушкина омрачены не только мучительным конфликтом с двором и светским кругом, но и холодностью публики и недоброжелательством критики.

Русские романтики 30-х годов всегда ожидали от Пушкина того, что он не мог и не хотел дать, и не замечали ответов Пушкина на запросы времени. Две основные формации русского романтизма конца 20-х и 30-х гг. — это группа, ориентирующаяся на левый французский романтизм с его социальной проблематикой, и группа, ориентирующаяся на немецкий романтизм и немецкую идеологическую философию (бывшие московские любомудры).

Натуралистические тенденции первой из этих групп были Пушкину в высшей степени чужды; он не скрывал своей враждебности по отношению к явлениям такого рода не только в русской литературе, где эти тенденции были представлены Полевым, но и во французской литературе, когда речь шла о таких писателях, как Гюго, Дюма, Сю. Замечательно, однако, что Пушкин дал свой ответ и на один из основных запросов, выдвинутых начинателями натуральной школы: именно на требование нового демократического социального материала. Он дал этот ответ «Домиком в Коломне», частью «Медным всадником», «Повестями Белкина». И, как это постоянно случалось с Пушкиным последнего творческого периода, ответ его оказался обращенным не к непосредственному окружению, но вперед, в будущее — к Гоголю, к Тургеневу, к Достоевскому, недаром осознававшим себя преемниками пушкинских традиций.

Сложнее были взаимоотношения Пушкина с русскими адептами немецкого романтизма. Московские любомудры (Веневитинов, Киреевский, Хомяков, Шевырев и т. д.) никогда не занимали по отношению к Пушкину позиции открытой вражды. Напротив, для них характерно бесспорное признание Пушкина первым русским поэтом. Но в этом признании чувствовалось что-то недоговоренное, замаскированная или полумаскированная полемика и протест. Московские шеллингианцы в более или менее откровенной форме попрекали Пушкина Байроном: они считали, что должно быть найдено национальное содержание для независимого русского романтизма, который займет тогда в мировой культуре место наряду с немецким, французским, английским романтизмом. Однако, как только они пытались конкретизировать искомое содержание русского романтизма, оказывалось, что оно уж очень приближается к содержанию немецкого романтизма, со всеми особенностями его натурфилософии, эстетики, религиозно-мистического сознания и т. д. Все это как-то совершенно не по пути было Пушкину с его мышлением ясным, рациональным и историчным. И московские шеллингианцы, которым Пушкин не дал того, что они хотели, оставались при наивном убеждении, что Пушкин «не глубок».

В России высочайшие достижения романтической эпохи 1830-х гг. в диалектике своего развития стремились к реализму, на фоне которого они были потом осмыслены как явления общеевропейского значения. Это опять-таки раскрывает совершенно особую роль Белинского в оценке Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Белинский, в последнем периоде своей деятельности сознательный методолог русского реализма, и раньше угадывал в явлениях русской культуры то, что тяготело и вело к реализму, то, что было, собственно, уже реализмом, хотя не называлось и не могло еще называться этим словом.

В 1834 г. начинающий Белинский в своих «Литературных мечтаниях» еще не ушел от того отношения к Пушкину, которое подсказывала ему вся литературная обстановка. В этот момент для Белинского Пушкин — крупнейший из современных русских поэтов, но, во-первых, поэт, в чьем гении, по мнению Белинского «Литературных мечтаний», замечался упадок (в 30-х гг., по сравнению с 20-ми). Во-вторых, поэт, так сказать, местного значения, блестящий представитель молодой русской культуры, который не может идти в сравнение с корифеями европейских литератур.

Но вот в августе 1837 г. Белинский написал М. А. Бакунину: «Пушкин предстал мне в новом свете, как будто я его прочел в первый раз». С тех пор мысль о мировом Пушкине не оставляет Белинского. «Пушкин

меня с ума сводит. Какой великий гений, какая поэтическая натура!.. У меня теперь три бога искусства, от которых я почти каждый день неистовствую и свирепствую: Гомер, Шекспир и Пушкин» (письмо И. И. Панаеву от 19 августа 1839 г.).

Мысли, разбросанные по его письмам конца 30-х гг., Белинский концентрирует в статье «Русская литература в 1840 году», где он провозгласил Пушкина «исполинским гением», а его создания — великими, мировыми, чисто-европейскими, принадлежащими человечеству и вечности.

Если свой взгляд на Пушкина Белинский окончательно сформулировал в статьях 1844 г., то предпосылки к этому взгляду мы находим уже в его письмах конца 30-х годов.

Белинский писал Станкевичу о Пушкине: «Какая полная художественная натура! Небось, он не впал бы в аллегорию, не написал бы галиматъи аллегорико-символической, известной под именем второй части “Фауста”, и не был способен писать рефлексированных романов в роде “Вертера” или “Вильгельма Мейстера” <...> (“Цыганы”) какое мировое создание! А “Моцарт и Сальери”, а “Полтава”, “Борис Годунов”, “Скупой рыцарь” и, наконец, перл всемирно-исторической литературы “Каменный гость”! Нет, приятели, убирайтесь к черту с вашими немцами — тут пахнет Шекспиром нового мира!..» И примерно через год в письме к Бакунину: «Мирозозерцание Пушкина трепещет в каждом стихе, в каждом стихе слышно рыдание мирового страдания, а обилие нравственных идей у него бесконечно. Да, не всякому все это дается и труднее открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить готовыми идейками, как в мир рефлексированной поэзии... Не только Шиллер, сам Гете доступнее и толпе и абстрактным головам, которые всегда найдут в них много доступного себе; но *Пушкин доступен только глубоко-кому чувству конкретной действительности*. И потому петербургские чиновники и офицеры еще понимают, почему Шекспир и Гете велики, но Шекспира называют великим только из приличия, боясь прослыть невеждами, а в Пушкине ровно ничего великого не видят, для меня в этом факте глубокая мысль».

Итак, уже в 1839–40 гг. Белинский противопоставляет Пушкина поэзии философски-символического типа и объединяет его с Шекспиром, как поэтов, апеллирующих к *чувству конкретной действительности*.

Белинский сформулировал новое содержание русской литературы на целые десятилетия вперед, когда он написал, что в «Евгении Онегине» «Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания...»

Все это и значило найти для Пушкина масштаб, покончить с тем кружковым, «местным» отношением, перешагнуть через которое в 20-х–30-х гг. не сумели ни враги, ни друзья поэта.

Л. Я. Гинзбург

РАБОТЫ
ДОВОЕННОГО ВРЕМЕНИ